

SUMMA TOPOLOGIAE

(рецензия на книгу: Савчук В.В. Топологическая рефлексия. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 416 с.)

К.А. Очеретяный

*Исследовательский Центр медиафилософии,
Санкт-Петербургский государственный университет*

Аннотация: Данная статья представляет собой рецензию на книгу Валерия Савчука «Топологическая рефлексия» (М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2012. 416 с.).

Ключевые слова: рефлексия, топология, архаическое сознание, нигилизм, терроризм, перформанс, фотография, массовая коммуникация.

С того самого времени, когда между философией и математикой начинают завязываться интимные, вплоть до опасности удушения друг друга во взаимной близости, отношения, закон эквивалентности есть то, что неизменно преследует мысль на путях рефлексии. «Страсть холодных чисел», настигшая Фалеса, возможно, в тот момент, когда ему, наконец, удалось измерить высоту египетских пирамид, возможно, пережитая в ходе знаменитой рыночной спекуляции – остается в наследство западноевропейской рациональности, обрекая последующие поколения на тайное идолопоклонство. И даже в те периоды, когда на смену математической модели рефлексии о сущем поочередно будут приходиться модели истории, экономики, лингвистики – в остатке всякой медитации будет оседать незамеченным, в силу привычки, грузом требование кэрроловского Болванщика – требование перемены мест. В чем же состоит закон эквивалентности? Прежде всего – в отсутствии должного внимания к месту. Особо чувствительный к различного рода разломам и трещинам – быть может, в силу того, что именно он повинен в первом разрыве с налично-даным сущим – язык, даже в наиболее истертых вялотекущей повседневностью выражениях, сохраняет предельное сосредоточение внимания на мере соответствия слова, жеста, события – топосу. Мы говорим: «Это было не к месту» или «Как это вообще могло случиться здесь?» и последний вопрос зачастую оказывается гораздо более волнующим, чем параноидальное «Как это могло случиться со мной?». Предельная концентрация языка, вплоть до опасности материализации решительного внимания в жесте порывания с легковесностью слова, не нарушает, впрочем, ритмику течения мысли. Какими бы ресурсами сопротивления не обладал язык, в своем дискурсивном статусе он обречен, претендуя на десакрализацию формулы топической эквиваленции, разбиваться о стену немного согласия, будто бы сложенную тайным заговором за спиной фи-

лософии, еще только претендующей на голос. Удлиняясь тенью вслед за спонтанным рассуждением, увлекая его в пространство немоты и не высказанности – эквиваленция ставит зачатки даже в наиболее естественном словоизъявлении, не давая ему, набравшись силы, перерасти в крик. Вопрос об уместности, о степени топической размерности, обращается в дистиллированные формы медитации – трансцендентальную, диалектическую, феноменологическую. Все они, открывая суждению доступ к собственному основанию, просчитывались на пути возвращения: то движение мысли было законодательством над топосом или поглощением его хищным *ratio*, то путь «к самим вещам» обращался вопросом о статусе интенциональных объектов, вызывая к жизни сюжеты забвения. Так или иначе, вкрадчивое присутствие закона эквивалентности всякий раз контрабандой проносилось в очередной виток мысли, мнящей себя критической.

Одним из наиболее значимых критических процессов длительного периода истории мысли, от симптомов которого мы не избавлены и сегодня – процессом (и в юридическом смысле более остальных) Просвещения закон эквиваленции также не был обойден. Напротив – начиная с классического периода и заканчивая спором о модерне – Просвещение питается им. Суть рациона (*ratio*'на?) состоит в следующем: конфигурация сил, желаний, тел(а) в одном топосе – привычным образом законодателями здесь числятся практики европейской рациональности – в ином пространстве мышления те же. Они не являются относительно возможными, т.е. осуществляемыми лишь при условии различного рода компенсаций неизбежно сопутствующих смене территорий – они возможны абсолютно. Последнее означает, что тело и желание, сила и жест первым шагом рефлексии должны быть избавлены от мнимой нагрузки, сообщаемым им топосом пребывания, нагрузки, которой по сути является сам факт их эмпирического наличия. Следующим же шагом, и данное требование является индикатором автономии мышления о сущем, является претензия на аристократические модели сущностного описания, руководствующиеся принципами избирательности и законодательства.

Дистилляция существующего обращает магией числа глаз во взгляд, а затем и в трансцендентальное обоснование способности созерцания, тело – в модель унификации и отслеживания патологий, приводящей, в конечном счете, к топосу, сформированному в соответствии с требованиями общей экономии, эргономики и дисциплины. Конечно, и этот процесс не был обойден вниманием. Опирающаяся на имманентные топосу критерии разметки ходов мысли этнография в XX веке, претендуя на остановку судебного процесса, развернутого трибуналом чистого разума, противопоставляет эйдетической модели истолкования сущего, модель описания различий. Сущности отныне не редуцируются и не подвергаются негации, они множатся. Но даже здесь модели гетерогенных типов письма чрезвычайно рано оказываются освещены звездным небом структурного упорядочивания. Фигура этнографа – номада обращается его двойником – неокOLONIALИСТОМ, земля начинает дышать в такт геометрически выверенным созвездиям неба новой (?) истины: этнография становится структурной антропологией.

На фоне историко-философских разысканий, претензий на возрождение традиций и попыток позднего к ним подключения, пафос Валерия Савчука указания философии места, оказывается удивительно свежим в простоте своего звучания. Что может быть настолько же простым как события топоса пребывания? В силу их простоты, подотчетными оказываются лишь события, подрывающие несущую конструкцию устойчивого существования, значимыми – вторжения извне, помрачающие картину домашней ойкумены. Рай на расстоянии вытянутой руки, гармония информационных потоков, прокручиваемая наспех без должной медитативной усидчивости, редкие вкрапления озарения в привычные траектории мысли, столь же редкие вкрапления боли на пути к инстанциям, предписанным к посещению распорядком дня – все это не интересно. Интересными оказываются Ливия, протяженность моста над бух-

той Цзяочжоу в Желтом море, верлибр и даже вопрос о том, как возможны априорные синтетические суждения. И в каждом из этих интересов трещиной зреет изъян оптики наблюдения, в каждом из них дает свою свежую поросль нигилизм. Предельное сосредоточение внимания, улавливающее робкие отзвуки события, неизбежно оказывается рессентиментарным, если топос взыскующей адекватности мысли превосходится рефлексией. Время замирает «как стекло падающей воды, как провал беспамятства, как фотография» (с. 177); почва мысли, ее плодородный гумус расходятся под ногами, открывая *Infernum Silentii*, в отсутствии надежного заземления мы продолжаем забывать... О том, что и платоновская Академия, и аристотелевский Ликей формировались в том числе и как гимнасии – места концентрации телесных усилий, а атлетические упражнения следовали аскезису спекулятивных рассуждений. О том, что язык, на котором ставятся проблемы современности, достается в наследство от тактических установок, сформированных в дискуссиях эпох предшествующих, движущихся каналами, проложенными отчаянным напряжением собственного озабочения. Наконец, о том, что топическая конфигурация суждения, не является лишь сценой, на которую концептуальные персонажи галереи философских портретов поднимаются исключительно причудливой волей случая – провиденциализмом, внезапно сообщаящим силу трансценденции аскету духа. Как раз дух в его трансценденции и оказывается проблемой «Топологической рефлексии». Ложноистолкованную мессианскую силу, внезапным порывом отрывающую тело мысли от топоса, Валерий Савчук воспринимает как травму философии: «выживание требует смены не только ориентиров, но и политики повседневности...» (с. 127). Расхождение рефлексии и топоса открывает рану, не нуждающуюся, в противоположность привычным для эпохи комфорта векторам обезболивания, в стерилизации. Напротив, сила сокровенной, т.е. соответствующей импульсам крови, мысли заключается в том, чтобы эту рану впервые явив, удержать.

По замечанию разочаровавшегося в математике инженера, австрийского художника слова – Роберта Музиля: «душа делает пространство холмистым как вздутый лед», а потому, позволю продолжить, первичный запрос всякой возможной формы рефлексии, претендующей на автономию разума, подобен в своем импульсе жесту архаического художника, притягивающего на обращение рельефной поверхности стены пещеры в плоскость. Тонкий исследователь архаического – чувства, сознания, тела, Валерий Савчук возвращает нас в ситуацию первичного внимания к деформации топоса, в ситуацию художника, еще только взирающего на свод пещеры. Исключительную важность здесь обретают темпоральные модусы «еще не» и «уже не», согласно Хайдеггеру – модусы «навязчивости» и «назойливости», в которых только и находит глаз неудобство – призывающего к открытию взгляда, в которых только внимание и заставляет обратиться к той точке, когда неожиданно разглаженные рельефные контуры обретают вдруг строгую выверенность картезианских пропорций. Рельеф за миг до столкновения с аналитической силой матезиса обретается в «позе логоса». Речь не идет, впрочем, исключительно о художественных практиках выражения топоса. Хотя в своей ранней книге «Конверсия искусства» автор интерпретирует силу перформанса как возможность мыслить топос, в «Топологической рефлексии» уделяется более пристальное внимание генеалогии нивелирующего различия оптикоцентризма Нового времени, разлагающего объемы в границах картезианских координат.

Возможно, в своей непрекращающейся на протяжении всего Нового времени полемике с познавательными практиками эпохи Возрождения, оптика – символ точности, ясности, а также уверенности в предсказуемой очевидности ожидаемого, так и не смогла одолеть астрологию. Споря за первенство в регламентации данного и должного оптическое наблюдение, развернув аналитическую картину мира, в рамках которой на протяжении веков осуществлялся принцип экспериментирования, лишь упростила ее (астрологии) громоздкий дис-

курс. В дальнейшем экономия мира (подобное определение мы неоднократно встречаем у Лейбница), рефлексии, обращаясь понятием метода, становится руководящим принципом мышления эпохи. Метод как принцип экономии есть кровная мета памяти, нанесенная оптическим техникам Нового времени астрологией эпохи Возрождения. Последняя ушла в тень, первые же, ознаменовав эру естественного света разума, сковали сознание рамками предвосхищаемого ожидания результата. Декарт, ставящий в своих черновиках интуицию на место первоочередного оператора аксиоматического мышления, уже не обращает никакого внимания на то, что первично интуитивный акт осуществляется лишь посредством поддержки трансцендентного. «Я поднимаюсь благодаря поднимающей меня силе» – говорит Бонавентура. Для Декарта же точность знания должна прежде всего отвечать оптическим критериям: ясность, очевидность, прозрачность. Свет – как это было ранее в эпоху Возрождения – уже не является трансцендентной силой, соприкасающейся в пределах особого ритуала астролога с умом претендующего на предсказание. Отныне он является атрибутом познающего сознания. Он полагает порядок, организует в соответствии со своими требованиями идеи – от более отчетливой к наиболее смутной. Первые главы «Герметического свода» открываются нисхождением Света, Картезий начинает свою медитацию с презумпции очевидности как данности и отчетливости как имманентной силы сознания располагать своими идеями. Традиция Просвещения вслед за Декартом также не использует свет в качестве всего лишь метафоры. Оптика как опыт наблюдения за микро – и макромиром, равно как и принцип законодательства, направленный на негацию идолов сознания, сохраняет свою силу вплоть до «Науки логики» Гегеля, в которой оптическая терминология постепенно преобразуется в иносказание. В этом смысле интересным оказывается «Письмо о слепых предназначенное зрячим» (1749 г.) Дени Дидро – один из немногих документов эпохи, обращающийся к практикам тактильности в противовес тоталитаризму оптической парадигмы. Основываясь на опыте наблюдения слепых, Дидро делает вывод о том, что вся современная оптическая методология еще не обеспечивает глаз безусловной способностью отчетливого созерцания. Вполне возможно, что и геометрия, если она доступна слепцу, уже не имеет ничего общего со своим древним названием, являясь не более чем изобретением слепого рассудка. В XX веке эту критику геометрии (а также подразумеваемую в ее основе эталон точности – оптику) поддержат с одной стороны Эдмунд Гуссерль в «Кризисе европейских наук», а с другой – Жан Ипполит, неоднократно обращающийся к разбору «Геометрии» Декарта в ходе своих семинаров Эколь Нормаль.

Все это, впрочем, не более чем соразмышление автору, проект которого не ограничивается исключительно критикой оптикоцентризма, что, следуя его же логике, обернулось бы лишь очередной претензией «говорить от имени всеобщего». Ключевой интенцией «Топологической рефлексией» является все же опыт концептуализации места, подразумевающий гетерогенные практики осмысления. Деконструктивный импульс исследования (в альтернативном ключе его можно было бы признать историографическим экскурсом) ограничивается первой частью книги («Рефлексия в свете разума»). Последующие главы – иные, текст, претендующий до сих пор на строгий разбор визуальных практик, доминирующих в дискурсе философии, неожиданно разворачивает диспозитивы скрытых прежде ресурсов сопротивления. Геометрической выверенности оптики противостоят опыты мышления тела, перформанса, фотографии и медиа. Каждый из указанных, так или иначе, выражает топос, все они вместе направлены на преодоление небрежения к последнему. Следует также заметить, что возвращению мысли места неизменно сопутствует тема, в ходе чтения, могущая оказаться побочной, но в пределе окаймляющая весь корпус работы, рассуждения о нигилизме. Обреченная на все большее ускорение времени, неизменную сегрегацию и дробление чувства, желания, мысли, современность не нуждается в простой укорененности, в предельной заземлен-

ности опыта. Автор не противопоставляет номадизму новую оседлость, напротив, вскрывая изнанку номадического проекта, Валерий Савчук предлагает мыслить адекватно топосу. Последнее означает не просто осмысление границы возможностей рефлексии, но пристальное внимание к границе как порогу определения, в котором только и становится возможной рефлексия, в которой она только и есть. Предельная концентрация архаического охотника, вытесненная экстазом, продуцируемым современностью, нуждается в своем возвращении в качестве новой дисциплины. Мы помним, что момент экстаза в мистериях античности, вспышках одержимости средневековья, алхимических практиках Ренессанса, не был простым театром смерти или ее замещением, он являлся актом расщепления устоявшихся границ твердого тела социума, выход из которого знаменовал приобщение к силам его формирующим, к основанию неизменно поддерживающему сущее. Сегодня, в эпоху всеобщего экстаза, возможность такого выхода по ту сторону горизонта осуществления события закрыта для нас более чем когда-либо прежде. В одном из своих высказываний Гегель определил труд как процесс уничтожения или проклятия мира. Не обречены ли мы до сих, подчиняясь экстазу духа, этого не знающего конца процесса расщепления устойчивых оснований, видеть себя лишь в осколках подвергнутых критике предшествующих эпох гештальтов? Ионизируясь, тело расходится по каналам медиа, свистопляска Dasein, набирая обороты, окутывает шумами голос, взгляд обрекается на скольжение по все более обтекаемым поверхностям в тщетной надежде останова. Неудивительным потому оказывается и то обстоятельство, что автор единым жестом связывает архаику и современность: «Как для аналитики проблем современности, так и реконструкции архаического пространства во всех формах его проявления наиболее приемлемым оказалась “топологическая рефлексия”» (с. 151). Впрочем, речь не идет о поиске новой земли, где мысль, наконец, обретает свой покой. Острова Блаженных также недостижимы, как и претензия на единое основание понимания себя и Другого, себя и самого себя Иного. Вопрос о темпоральной идентичности, волновавший еще Аристотеля, и через христианскую эсхатологию и трансцендентальную философию, перешедший, с определенными оговорками, в сферу юриспруденции и права, отменяется вопросом об адекватности. Положение об основании облекается в простую, вплоть до угрозы забвения, формулу – основание необходимо всякий раз открывать заново. Каждый топос требует иной конфигурации соматических и рефлексивных практик, иного внимания и речь идет не столько о его интенсивности, сколько о сущностном изменении.

Summa topologiae, предложенная Валерием Савчуком и представляет собой совокупность «простых», в немислимости концентрации, направленной на их выполнение, упражнений в топологической рефлексии. На каждом шаге необходимо вернуться назад в твердое тело мысли, в устойчивость дисциплины. Принудительность выполнения такого рода задачи не является простой кристаллизацией возможности ее исполнения. Усилие здесь не тратится на самообоснование спонтанной прихоти исследователя, но противостоит безволию и инертности. «Радикально поменять полюса своего-чужого и стать ответственным, создать из неукорененного, коррумпированного, а потому рыхлого социального тела, тело солидарное и плотно сцепленное – условие ассиметрического ответа терроризму» (с. 261). Даже в наиболее случайных формах отвлечения и раскрепощения неизменно интенсивно действуют силы, разрывающие плоть сего места, размывающие, в последовательном движении подводных течений, контуры мысли, затушевывающие их в мнимом равнодушии. Импульсом рефлексии, претендующей на то, чтобы остаться верной своему имени, является попытка указания на то обстоятельство, что за каждой спонтанностью, очевидностью, естественностью стоит совокупность сил, направленных на регуляцию внимания. Организующие рекреативные зоны безразличия эти силы возобновляют свой ход непрерывно, и подлинным усилием мысли в таком случае будет противостояние и борьба. Открытие великих аскетов философии –

Спинозы и Ницше, состоит в том, что разврат не противостоит аскезису как отсутствие усилия его предельному сосредоточению. И в том, и в другом случае сила присутствует в равной пропорции, отличие полагается лишь в факте того, что если в случае предельной незаинтересованности воля питает ставшее, то в случае аскетических практик рефлексии мысль поверяет ставшее возможностью его негации. И наиболее часто за возможность своего осуществления мысль платит кровью. Вернуть мысли эту возможность уплаты, противопоставить системе картезианских координат «симметрию ран архаического Космоса», насытить плотью топос, а через него сообщить мысли адекватность – так можно интерпретировать соприкосновение путей двух проектов: книги «Кровь и культура» с книгой «Топологическая рефлексия». Возможно, топос уже разрывает оковы молчания, сопротивляющиеся его сближению с рефлексией; пафос дистанции оказывается превзойден претензией на строгость топологической ориентации – знания о дистанции и умения ее удержать. Ведь дистанция вызывает предчувствие отклика не тогда, когда она сокращается – ибо последнее есть лишь кинематографическое измерение катастрофы (пожирающее тело время), не тогда же когда она и разделяет: в безучастном геометрико-землемерном термине кроется отчаяние, ведущее к разрыву всех связей, всех, в том числе и голосовых, связок. Дистанция вырывает отклик из автоматизированной ритмики повседневности лишь когда она уже здесь – и это есть сочетание, и это есть стихия... И мы почти также как когда-то Гегель в своих лекциях по истории философии, но уже в радикально ином смысле можем воскликнуть: «Земля! Земля!»

P.S. Досужие размышления о форме книги выношу за пределы основного текста. Автору «Топологической рефлексии» можно только посочувствовать. Не в силу неординарной интенции проекта, равно как и не в силу претенциозного его исполнения, а скорее вследствие неотступного соучастия теневого двойника, преследующего всякого автора, всякую книгу. Даже у Заратустры была своя обезьяна... Во всяком случае, можно с определенной долей уверенности заявить: издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация» (директор Божко Ю.В.), с поставленной перед ним задачей не справилось. Китчеобразность обложки книги не содействует вниманию потенциального читателя, многочисленные опечатки ставят под сомнение квалификацию корректора и даже поднимают вопрос о его наличии. Использование греческих слов – выверенных традицией, и окончательно закрепившихся в философском дискурсе в качестве устойчивых терминов – то в их исходном написании, то в латинской транскрипции также путают чтение, лишают мысль должной дисциплины. Остается только надеяться на скрупулезность чтения вопреки, к чему у отечественного читателя, несомненно, уже выработалась привычка. Книга действительно того стоит.